



## **А. Л. ВОЛЫНСКИЙ**

### **Борьба за идеализм**

<Фрагмент>

#### **III**

Теперь перехожу к статье Соловьева о Тютчеве. Если отнестись к этой статье как к философскому рассуждению на литературную тему, нельзя не признать, что в немногих словах Соловьеву удалось вместить довольно обширное содержание. Статья проникнута одной ясной мыслью. Но чисто эстетическая сторона произведений Тютчева осталась без критической оценки. Целый мир отдельных мыслей, тиховейных, тихоструйных, не подвергся никакой философской обработке, хотя каждая стихотворная цитата открывает перед нами полнеба крупных, ярко горящих звезд. Автор начинает с указания на то, что Тютчев не только чувствовал, но и мыслил, как поэт. Он был убежден в «объективной истине» поэтического воззрения на природу, пишет Соловьев. Он знал и чувствовал, что природа имеет душу, и это непоколебимое убеждение прокладывало его вдохновению путь к самым таинственным источникам мировой жизни. Оно избавляло его, замечает Соловьев, от того противоречия между мыслью и чувством, которым от прошлого века до последнего времени страдает большинство художников и поэтов. «Простоудушно принимая механическое мировоззрение за всенаучное и единственно научное, а потому несомненное, веря ему на слово, эти служители красоты не верят в свое дело. Как художники, они передают нам жизнь и душу природы, но при этом в уме своем убеждены, что она безжизненна и бездушна, что их чувства и вдохновения их обманывают, что красота есть субъективная иллюзия». Тютчев избавлен от такого печального раздвоения. Поэзия его полна сознанный мысли, а мысли его находят себе вполне поэтическое, т. е. одушевленное и закон-

ченное выражение. Действительно, Тютчев чувствовал и мыслил поэтически. Каждое стихотворение его, в котором описывается внешний мир, полно одухотворенной энергии, осмыслено до самых тонких, едва заметных художественных штрихов и в целом представляется как бы живым звеном между природою и сознанием человека.

Не то, что мните вы, природа:  
 Не слепок, не бездушный лик;  
 В ней есть душа, в ней есть свобода,  
 В ней есть любовь, в ней есть язык.

.....  
 Вы зрите лист и цвет на древе:  
 Иль их садовник приклеил?  
 Иль зреет плод в родимом чреве  
 Игрою внешних, чуждых сил?

.....  
 Они не видят и не слышат,  
 Живут в сем мире, как впотьмах;  
 Для них и солнца, зная, не дышат  
 И жизни нет в морских волнах.  
 Лучи к ним в душу не сходили,  
 Весна в груди их не цвела,  
 При них леса не говорили  
 И ночь в звездах нема была!  
 И языками неземными,  
 Волнуя реки и леса,  
 В ночи не совещалась с ними,  
 В беседе дружеской, гроза!  
 Не их вина: пойми, коль может,  
 Органа жизнь глухонемой!  
 Души его, ах, не встревожит  
 И голос матери самой!

Стихотворение это почти дидактично по содержанию, но каждое слово в нем таит в себе какой-нибудь новый оттенок, — неуловимый, нужный, тонкий и потому поэтический, — приносит с собою чистый светлый звук, дающий направление чувствам. Нигде еще поэзия мысли не облакалась такую музыкальную форму, как в стихотворениях Тютчева. Целый мир возвышенных идей проходит перед глазами, и ни одна из них не возбуждает холодного, рассудочного к себе отношения. Издали они манят философским светом, вблизи они кажутся живыми существами.

Обрисовав мировоззрение Тютчева, Соловьев в сжатых словах так излагает центральную идею его поэтического творче-

ства. Гармония между вдохновением и сознанием, составляющая типическую особенность его как поэта, не делает его исключительным явлением среди других деятелей европейской литературы. Между великими художниками слова, которые в этом отношении ни в чем не уступали Тютчеву, достаточно назвать Шелли в Англии и особенно Гете в Германии. «Гете, который был не только поэт и мыслитель, — пишет Соловьев, — но величайший естествоиспытатель, положивший начало двум интереснейшим наукам, сравнительной анатомии животных и морфологии растений, лучше, чем кто-нибудь другой, мог видеть всю недостаточность исключительно механического объяснения вселенной, и в целом ряде великолепных стихотворений, под заглавием “Gott und Welt”, он прославляет душу мира и жизнь природы». Тютчев не рисовал таких грандиозных картин мировой жизни в целом ходе ее развития, какие мы находим у Гете, но и сам Гете, замечает Соловьев, не захватывал так глубоко, как Тютчев, «темный корень мирового бытия, не чувствовал так сильно *таинственную основу* всякой жизни, на которой «зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества». Обнимая орлиным взглядом величие и красоту живой вселенной, Гете знал, что под светлым дневным миром скрыто нечто совсем другое и страшное, но он «не хотел останавливаться на этой мысли, чтобы не смущать своего олимпийского спокойствия»<sup>1</sup>. Тютчев одинаково чуток к обеим сторонам действительности. Он никогда не забывает, что за светлым днем следует темная ночь, что под сознанием добра и красоты шевелится бездна всякого безумия. Он знал, что глубочайшая сущность мировой души, основа всего мироздания, заключена в хаосе, в демонических порывах, восстающих на все положительное и должное. «Космический процесс вводит эту хаотическую стихию в пределы всеобщего строя, подчиняет ее разумным законам, постепенно воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой дикой жизни смысл и красоту. Но и введенный в пределы всемирного строя, хаос дает о себе знать мятежными движениями и порывами». В природе тьма и свет борются постоянно между собою, и для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена «в торжестве мировой гармонии». Достаточно, чтобы светлое начало овладело ею, подчинило себе, до известной степени воплотилось в ней, ограничивая, но не упраздняя ее свободу и противоборство. Истинная художественная красота всегда выступает на фоне безобразного, бесформенного, стихийно-дикого хаоса. Обращаясь к человеку, Тютчев с особенной си-

лой отмечает демоническую основу жизни, в противоположность с тем, что составляет ее светлый принцип, — с любовью. «Этому вовсе не противоречит прозрачный, одухотворенный характер тютчевской поэзии, — замечает Соловьев. — Напротив, чем светлее и духовнее поэтическое произведение, тем глубже и полнее, значит, было прочувствовано и пережито то темное, недуховное, что требует просветления и одухотворения». Как в мировом процессе природы темное начало хаоса преодолевалось внешним образом, чтобы произвести светлое мироздание, «увенчанное явлением человеческого разума», так теперь эта темная сила должна быть побеждена внутренним образом, в самом человечестве, при его собственном содействии, всесильным духовным подвигом. Заменить роковое и убийственное наследие древнего хаоса духовным и животворным наследием нового человека, — вот задача нашей жизни.

О вещая душа моя!  
 О сердце, полное тревоги!  
 О как ты бьешься на пороге  
 Как бы двойного бытия!..  
 Так, ты — жилище двух миров,  
 Твой день — болезненный и страстный,  
 Твой сон — пророчески неясный,  
 Как откровение духов.  
 Пускай страдальческую грудь  
 Волнуют страсти роковые, —  
 Душа готова, как Мария,  
 К ногам Христа навек прильнуть.

Не излагая своих философских убеждений, Соловьев дает, однако, чувствовать, что этот строй мысли ему близок по духу. Вслед за поэтом он считает корень мировой жизни темным, ее основу безумной и безобразной. Демонические порывы он называет глубочайшею сущностью мировой души. Но хотя Соловьев, в данном случае, следует за Тютчевым, мы должны сказать, что в этой передаче философских идей поэта нет достаточной ясности. Если сущность мировой души хаотична в тютчевском смысле слова, то, спрашивается, какими духовными подвигами эта сущность может быть побеждена? Самое представление о борьбе с человеческой сущностью — не только человеческою, но и мировую — включает в себе внутреннее противоречие. Если корень жизни безобразен, если ее мистическая основа демонична — в том именно смысле, как понимает это слово Соловьев, — нельзя придумать такой силы, которая могла бы одолеть эту основу. Назначая человеку высокую жизненную цель,

нельзя сказать, что сущность его противоположна поставленной нравственной задаче. Если она несообразна с человеческой природой, она не имеет права на существование, должна быть признана нелепостью. С демонизмом не соединимо никакое нравственное учение. И тот, кто в настоящее время сумел привлечь к нему внимание всего человечества, тот оригинальный, могучий, смелый писатель, который сделал из демонизма нечто в роде новой религии, хорошо понимал, что вопросы морали должны быть выкинуты из его системы. Он мыслит предметы вне идеи добра и зла. Но Соловьев, по-видимому, хотел бы соединить демонизм с нравственностью, и притом в такой комбинации, при которой демонизм оказывается не только явлением среди других явлений, но даже *сущностью* человеческой жизни. Он хотел бы в основу христианской философии положить антихристианское начало. Нравственный подвиг должен совершиться вопреки коренным свойствам человеческой души! Но такой задачи нельзя разрешить никакими логическими средствами, потому что сущность человека, какая бы она ни была, демоническая или христианская, едина, и всякая последовательная философия, организованная с методической стройностью, философия, которая не торопится вперед никакими произвольными скачками, никогда не соединит в себе двух противоречащих логических сил, разрушающих одна другую. Сказав, что сущность человека демонична, Соловьев этим обязал себя к выводу, что все нравственные идеи — пустая химера. Сказав, что *тайная* основа жизни — темна и безобразна<sup>2</sup>, он этим обязал себя разорвать всякую связь с идеями блага и справедливости.

Но у самого поэта загадка жизни показана с поразительной силой.

На мир таинственных духов,  
 Над этой бездной безымянной,  
 Покров наброшен златотканый  
 Высокой волею богов.  
 День — сей блистательный покров,  
 День земнородных оживлень,  
 Души болящей исцеленье,  
 Друг человеков и богов!  
 Но меркнет день, настала ночь;  
 Пришла, — и с мира рокового  
 Ткань благодатную покрова  
 Собрав, отбрасывает прочь.  
 И бездна нам обнажена,  
 С своими страхами и мглами,  
 И нет преград меж ей и нами:  
 Вот отчего нам ночь страшна.

Тютчев называет бездну жизни безымянною. Боги набросили на нее «блистательный покров». Но ночью бездна обнажается пред нами с своими страхами и мглами. Никто не описывал ночь такими волшебными красками, как Тютчев. От каждой черты веет загадкою, которая увлекает именно тем, что в ней есть зловещего, темного, непонятного. Хмурая ночь, как «зверь стокий», глядит из каждого куста<sup>3</sup>, — мимолетный образ, передающий ощущение ночи с необычайной силой. В русской поэзии нет другого стихотворения, которое так правдиво отразило бы тревогу души при виде ночного неба, густо покрытого тучами, как небольшое стихотворение Тютчева: «Ночное небо так угрюмо Заволоклось со всех сторон». Слова мелькают перед глазами, как молнии. Сравнение зарниц с «глухонемыми демонами», которые ведут между собою таинственную беседу огненными знаками, бросаемыми над полями и дальними лесами, очаровывает воображение. Заключительные четыре строки стихотворения придают ему полноту трагического происшествия. Можно подумать, в самом деле, что именно хаотическое начало жизни было любимой темой поэтических мечтаний Тютчева, хотя внимательный читатель найдет среди стихотворений его немало и таких, в которых внутренняя жизнь человека, как бы вынутая из общего демонического строя, поставлена особо, в некотором отдалении от мира, на протестующей высоте даже по отношению к тому, что принято называть красотой. В стихийных спорах есть гармония, в морских волнах — певучесть. В природе господствует созвучие всех ее частей,

Лишь в нашей призрачной свободе  
 Разлад мы с нею сознаем.  
 Откуда, как разлад возник,  
 И отчего же в общем хоре  
 Душа не то поет, что море,  
 И ропщет мыслящий тростник?

Этот ропот «мыслящего тростника» в глазах самого поэта не мог уже иметь демонического характера.

#### IV

Я не пишу критической статьи о поэзии Тютчева. Мне хотелось только отметить рассуждения Соловьева на эту тему. Русская критическая литература не богата статьями о тютчевской поэзии, и среди известных мне характеристик и оценок ее не-

большой этюд Соловьева должен занять видное место. Но за тонкими эстетическими замечаниями следует обратиться к статьям Некрасова, Аксакова, Тургенева, к небольшому, но превосходному разбору тютчевских произведений, сделанному Фетом еще в 1859 году.

Некрасов один из первых оценил изящный и глубокий талант Тютчева. В статье, носящей название «Русские второстепенные поэты» (*второстепенные* — по степени известности в публике), напечатанной в «Современнике» 1850 года, он в немногих словах рисует всю его литературную карьеру. С истинным увлечением говорит он об его живом, грациозном, классически верном изображении природы, о тонком мастерстве его в описании самых нежных, мимолетных движений души. Каждое слово Тютчева метко, полновесно, оттенки расположены у него с чрезвычайным искусством, каждый стих — перл, «достойный любого из наших великих поэтов». «Мы решительно относим талант Тютчева, — пишет Некрасов, — к русским первостепенным поэтическим талантам». Он писал немного, но имя его навсегда останется в памяти истинных ценителей и любителей изящного, «наряду с воспоминаниями нескольких светлых минут, испытанных при чтении его стихотворений». В обширной статье Аксакова, напечатанной в «Русском Архиве» 1874 года, мы находим полный биографический очерк Тютчева, разбор его политических статей, вместе с краткой, но меткой и сильной оценкой его поэтического дара. Тютчев перед нами, как живой, — остроумный, изящный, вдохновенный, весь пропитанный высшей культурой и в то же время мечтающий о самостоятельном призвании русского народа. Каждое слово его сочтется мыслью. Ирония его, острая, игривая, легкая, тонко разбивает все обольщения мелкого человеческого самолюбия. «Его присутствием, — пишет Аксаков, — оживлялась всякая беседа». Неистощимо сыпались блестящие его чарующего остроумия. Окружающие люди с жадностью подхватывали его меткие изречения, из которых каждое было в своем роде артистическим изделием «самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки». Тютчев любил импровизацию. Вот он мчится из дальних краев домой, вот он, с накинутым на спину пледом, бродит долгие часы по улицам Петербурга, не замечая и удивляя прохожих. Своим внешним видом он производил впечатление человека, влачащего с трудом тяжкое бремя собственного дарования, страдающего от нестерпимого блеска своей собственной неутомимой мысли. Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волоса-

ми, небрежно падавшими на высокий лоб, с рассеянием во взоре и постоянным легким намеком иронии на устах — таков был этот удивительный писатель, который неотразимо привлекал изяществом всех проявлений своего духа. Аксаков превосходно оттенил в своей статье чистую, поэтическую вдохновенность Тютчева, его неуменье трудиться над стихами, *работать* в творчестве, создавать и осуществлять широкие литературные планы. «Когда он писал стихи, — замечает Аксаков, — он писал их невольно, удовлетворяя неотвязчивой потребности». Он записывал их, когда они сами собою складывались в его голове. Так однажды, рассказывает Аксаков, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозничьих дрожках, весь промокши, он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes», и пока его раздевали, продиктовал ей следующее стихотворение:

Слезы людские, о, слезы людские!  
 Льетесь вы ранней и поздней порой.  
 Льетесь безвестные, льетесь незримые,  
 Неистощимые, неисчислимые.  
 Льетесь, как льются струи дождевые  
 В осень глухую порою ночной!

«Здесь почти нагляден для нас, — замечает автор, — тот истинно поэтический процесс, которым внешнее ощущение капель частого осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется в ощущение слез и облекается в звуки, которые сколько словами, столько же самой музыкальностью своей воспроизводят в нас и впечатление дождевой осени, и образ плачущего людского горя». Эта вдохновенность Тютчева доказывается еще и другим поразительным фактом. Тютчев тверже выражал свои мысли по-французски, чем по-русски. Свою корреспонденцию он вел на французском языке. Статьи свои он писал по-французски. Но стихи свои он писал только по-русски. Внешняя форма «не является у него надетой на мысль, как перчатка на руку, а срослась с нею, как покров кожи с телом», сотворена одновременно с нею, тем же самым поэтическим процессом. Тютчев до такой степени непосредствен в своей творческой деятельности, что произведения его никогда не являются пред нами совершенно законченными, всегда сохраняют на себе теплый след рождения, еще трепещут внутренней жизнью его души. Пушкинская трезвость, точность и меткость эпитетов, полная соразмерность внешней формы и содержания, правдивость чувства и потому постоянная «некая

серьезность основного звучащего тона», повсюду дыхание мысли глубокой, тонкой, оригинальной, нередко отвлеченной, но всегда согретой сердцем, удивительная нежность оттенков и переливов в области нравственных ощущений, мастерство художественной резьбы при совершенной простоте, естественности, свободе и, так сказать, произвольности поэтической работы, — таковы главные достоинства лучших поэтических произведений Тютчева, в прекрасной характеристике Аксакова. На всем печать вкуса, многосторонней образованности и — при этом — что-то скромное, смиренное, человеческое, без малейшего тщеславия, жестокости, щегольства. Ничего напоказ, ничего предвзятого, заданного, сделанного, сочиненного. «В истории русской словесности, — заключает Аксаков, — Тютчев останется всегда одним из самых блестящих и своеобразных проявлений русского поэтического гения. Его значение не померкнет». С таким восторгом Аксаков говорит о поэтическом таланте Тютчева. Я не привожу его рассуждений о политической философии Тютчева и не вдаюсь вообще ни в какую художественную критику, потому что, повторяю, мне хотелось только наметить, хотя бы чужими словами, то, что в статье Соловьева осталось неизученным и необъясненным. Тютчев — чистый тип поэта, как это было верно замечено Хомяковым, и нельзя, критически изучая его стихотворения, не взвешивать их художественных достоинств, их красоты и оригинальности. Но, отметив отзывы Некрасова и Аксакова о стихах Тютчева, я, для полноты сведений, сделаю еще небольшие выписки из двух превосходных статей о Тютчеве Тургенева и Фета. «Таланта Тютчева, — писал Тургенев, — по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения». Для верной оценки его надо, чтобы читатель сам был одарен тонкостью художественного понимания, некоторой гибкостью мысли. «Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом, — надо приблизиться к ней, чтобы почувствовать ее благовоние». «Мы не предсказываем популярности Тютчеву, — замечает Тургенев, — но мы предсказываем ему глубокое и полное сочувствие всех тех, кому дорога русская поэзия». Статья Фета отрывочна по форме, но она вся от начала до конца проникнута живым пониманием тютчевского таланта, переполнена самыми пронизательными определениями поэтической манеры Тютчева, его художественных образов, его воздушных, легких, нежных красок. Фет указывает на те свойства поэта, который всегда будут мешать его популярности в толпе обыкновенных читателей, но тут же с восторгом художника рисует ведущая достоинства его стиха, его глубоких

философских настроений. «Не потому Тютчев великий поэт, — пишет он, — что играет отвлеченностями, как другой играет образами, а потому, что он в своем предмете так же улавливает сторону красоты, как другой улавливает ее в предметах более наглядных». Философия была жизнью его души, но философия в стихотворениях Тютчева никогда не разлучалась с чистой поэзией, возбуждая энтузиазм «в тесном кружке знатоков».

В тесном кружке знатоков энтузиазм этот не прошел еще до сих пор, и невольно думается, что Тютчев, именно благодаря философскому характеру своих произведений, навсегда останется любимым поэтом только для самых культурных читателей. В толпу он не войдет никогда, потому что для нее он чересчур глубокомыслен. Но люди с изысканным вкусом будут постоянно возвращаться к поэзии Тютчева, изучать ее, открывать в ней новые красоты, сличать ее с лучшими течениями в искусстве каждого данного момента. «Мы любили Тютчева, — говорил мне однажды Лев Толстой. — Вы знаете Тютчева? Вы помните его? Для меня Тютчев выше Пушкина». «В нашем кружке, — прибавил он через несколько мгновений, — всегда предпочитали Тютчева Пушкину... Да, он выше Пушкина».

Я не мог присоединиться к этому мнению знаменитого романиста.

1896. Июль

